



Евгений НЕФЁДОВ и Владимир БОНДАРЕНКО

Владимир личутин

БУНИН И МЫ

ЧУЖАКОМ, БАЙСТРЮКОМ, "выродком" для приревнивших его либералов оставался Виктор Астафьев до самой смерти, как бы ни уросил он, как бы ни взбрыкивал, горестно опалая сердце воспоминаниями о трудном детстве, как бы ни прилеплял к власти свое ласточкино гнездо, закрывая глаза на ее разбойные выходки; странно и как-то нелепо в конце жизни он вдруг повторил путь Бунина, полный скепсиса и раздражения. Только Бунин со своей неразлучной ненавистью к деревне побежал на чужбинку, чтобы там еще пуще возлюбить родные запольки, темные аллеи и дубовые леса, а Виктор Астафьев подался на "чужебные подмостки Кремля", чтобы оттуда, покрикивая на темный народец, безжалостно напирать на тощую его шею тугой хомут, и попутно нащипывать лавровых листьев для венка.

Однажды в письмах к Эйдельману Астафьев по-мужицки резко, безо всякой дипломатии, сунул под нос, как мужицкую корявую фигу, правду-матку о евреях (видю, допекло и стало невмочь терпеть), — поступок громкий и даже бесшабашный; всплеск чувства, наверное, случайный и опрометчивый, но сами мысли "по еврейскому вопросу" были, безусловно, продуманы Астафьевым давно, сидели в душе глубоко, болезненно, и ответ составил неожиданно для Эйдельмана весьма простоватый, но красноречивый в своей откровенности. Наверное, наивно решил Астафьев, вот выплесну наболтавшее и жить станет куда легче, не будет вокруг ни эллина, ни иудея, но лишь братья во Христе; ведь ничего предосудительного и оскорбительного нет, надо лишь снять ржавчину, недолюбки, недоверие, с добрым сердцем нарушить молчание, снять непонятную цензуру с еврейского вопроса, и скинув все наносное, как ненужную пену с варева, зажить в простоте и с открытым взглядом. Ибо добрый сосед лучше кровной родни. Так, наверное, представлял Виктор Астафьев, затеяв переписку с "критиком кудравым". Раньше открыться? — наверное, не было повода, не так свербило в голове, не так теснило на сердце; а может, и было страшно, стыдно, неловко признаться, как бы "наверху" не посчитали искренние письма за ребячество и старческую глупость, дескать, во мужик, белены, знать, обьелся; но в "горбачевщину и балалайщину", когда всё тайное всплыло, когда всё дурное не только полезло наружу, но вдруг стало приличным похвастаться этим дурным, когда всё покатилося по России слепым колесом, когда всякая нелепица и завариха получили газетную площадь, когда всякое лыко стало в строку, то и претензии к евреям и Советам вдруг оказались невозможным хранить под скупом. Эйдельман без спросу те письма напечатал, в обществе со всех сторон пошумели, да и вроде бы и позабыли тут же; ведь тогда только ленивый не тербил еврейский подпушек, отыскивая в потайках блох и наживая себе громкого имени. Но не письма к Эйдельману, а повести "Царь-рыба", "Печальный детектив", "Людочка" приглянулись "чужебесам", чтобы тем огнем астафьевского честолюбивого, желчного текста подпалить в России загода, с умыслом заготовленное бере-сто новой революции. "Пожары" бывают природные, которых не избежать, и умышленные; к смолянскому факелу, увы, подносил спичку и Астафьев. Он самозабвенно, ошалело, закрыв глаза, обвинял совет-скую Россию, крестьянина и солдата, партийного чиновника и писателя в самых немисланных грехах, куда внезапно сметывался его раздраженный ум; и наверное, напускал громы и молнии от любви к родной земле, но невольно топтал вековые нравственные заповеди, и эта видимая "отвязанность", с коей совершались всплески площадной ярости и проклятий в адрес своего народа, тоже была взята либералом-разрушителем (новым гунном) себе в помощь. Оказалось вдруг, что переписка Астафьева с Эйдельманом уже незабываема, и последующие оправдания Петровича перед "чужебесами" были напрасной словесной толкотней, бурей в стакане воды, вызывая лишь тайную усмешку с их стороны; несмотря на все публичные поклоны, писатель из Овсянки оказался лишь беспомощной мухой в их тенетах. Зато духовным наставником и страдальцем в глазах "новых хозяев жизни" на обозримые времена останется Эйдельман, критик средней руки, но никак не писатель-народник Астафьев с клеймом "темного антисемита", когда-то с великой любовью пропевший возвышенные стихи русской деревне: "Последний поклон" и "Ода русскому огороду".

Так неожиданно отзывался сердитый урок орловского дворянина в крестьянском сыне из сибирской деревни Овсянки...

* * *

...Губин сидел полуразвалился, хмель оставил его, и напало полусонное оцепенение. Я украдкой подглядывал за Мишей, будто пытался в какую-то внезапную минуту застичь его истинного, вывятив из-под уловистой сетки частых морщин. Нижняя губа его выпятилась над седой бородкой, лицо уста-

ло обвисло, и Губин напомнил мне и знаменитого американского писателя, ловца рыб, покончившего счеты с жизнью, и прекрасного французского актера. Вдруг Губин поймал мой взгляд и сразу ожил, будто подключили к высокому напряжению, и голубенькие глазки взялись искрой. Выудил из внутреннего кармана фляжечку, протянул мне, но я отказался, — и отхлебнул добрый глоток. В сущности, Губин был моего возраста, но и шея у него была обтянута черепашной кожей, как у древнего старика. Его интересно было бы написать с натуры: и этот просторный череп с мелкой седой щетинкой, и нос клювиком, и монгольские скулы, и нависшие над глазами тяжелые надбровные дуги, из-под которых натекало яркой голубизной, и ядовито искривленные губы, когда Губин начинал говорить.

— Мы едем по бывшей славянской земле на единственное русское кладбище. Это все, что от нас осталось во Франции. Потому и тянуло всегда, и тянет, — нарушил молчание Губин, как-то подался вперед всем телом, будто выпрастываясь из заскорузлой оболочки, и на миг припал к окну.

Мне было странно слышать эти слова и немного стыдно, будто это я покушался на чужое, предьявлял свои права. Но эта нелепица и возбуждала, потому что невольно затрагивала недоступное понимание, темное, древнее, к чему я прикоснулся уже через добрый десяток лет. Но Губин споткнулся и не стал пояснять дальше.

— Русское кладбище стало лесом. Сосны, березы... Очень действуют на нервы. Да что говорить, скоро сами увидите. Ты во Франции, а тут береза, царапает по сердцу...

— Бер — это медведь, славянский языческий бог. Значит береза — жена бера, — включился я в шутливую игру, чтобы оборвать монолог Губина; вдруг показалось, что своим многословием он разжижает сам смысл поездки, развлекает ее остроту и крепость. — Но буква "З" часто перепадает на "Ж" или "Г", и выходит "берега", "бережа" — охранительница славяно-русов. Кстати, Берлин — это медвежье логово. А "бер" — по-немецки и медведь, и береза, и кустарник.

— Из березового вичья хорошие получают розги для дураков, — холодно осек Губин, внешне не выказывая досады — ...И вот идешь по кладбищу, как по историческому мемориалу. Стоит крест, и на табличке: "Гардемарин Иванов Владимир Иванович"... Другая эпоха. Ну, что-то слышали краем уха о белом движении... И чужие люди вроде бы нам, на той стороне воевали, а ведь родные, вот в чем штука... Помню, мы час истраили на поиски могилы Георгия Иванова. Жил, оказывается, такой замечательный поэт. Было темно и уже закрыли кладбище. Человек, который водил меня, попросил вспомнить какое-нибудь стихотворение, и я прочитал: "За столько лет такого маянья По городам чужой земли"... та-та, — Губин замаялся, забормotal, смутившись. Наверное, ждал подковырки от нас: — Подзабыл ведь... Помогите... "И мы в отчаяние пришли. Отчаянья в приют последний, как будто мы пришли зимой С вечера в церковке соседней по снегу русскому домой". А ведь здорово, правда? Это было написано перед смертью, там во Франции. В пятьдесят восьмом... И кому был нужен такой поэт?.. От этой тоски, что никому ты не нужен на чужбине, и родина недоступна, волком можно завывать, братцы... Я прочитал, сопровождавший меня слезу пустил. Говорю: еще кое-что у него есть. И еще прочитал... Иванов тогда уже был при смерти, Одо-евцевой диктовал: "Нас осуждать вы станете... с какой-то стати. Я за то: что мне не повезло. Уже давно пора забыть понятие: добро и зло. Меня вы не спасли. По-своему вы правы: какой-то там поэт! Ведь для поэзии, для вечной русской славы вам дела нет". Камень простой, написанно: "Иванов Георгий Владимирович... 94-58". Цветочница, крестик выбит и над могилой береза... Потом пошли на могилу Шмелева. Красивая могила, висела лампада. И шел снег. И опять выпили. Растрогались. Народу не было, поляк, как тень за нами, пожилой такой охранник... Потом подошли к могиле Гиппиус-Мережковских, потом к могиле Сергея Булгакова, философа, протоиерея, потом Добужинского, художника, навестили, потом прошли к Алексею Михайловичу Ремизову, потом к могилам моряков русских... Скоро сами увидите... И ведь все наши люди, все свои. И отрезанный ломоть. Огромный ломоть в два миллиона человек. Целый слой русского общества писали. Вот подумаешь — и, конечно, так грустно станет... И ведь ничем не объяснишь. Жуть! Побродили, намерзлись, сели в автобус, подъехали в городок, зашли в ресторан, я говорю: угощаю всех!.. Ну и надрались соответственно.

...Трагедия? — спросил он риторически, ни к кому не обращаясь. — Кому-то захотелось поиграть в революции, сорвать свой гешефт. И в результате?.. Ну для чего же поссорились русские до дикой кровяницы? Итог-то, братишки, какой? — Губин снова добыл фляжечку и пригубил...